

Воспоминания. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://leskovniko1ai.ru/> Приятного чтения!

Воспоминания. Николай Семенович Лесков

ОТКУДА ПОШЛА ГЛАГОЛЕМАЯ «ЕРУНДА», ИЛИ «ХИРУНДА»

Из литературных воспоминаний

Nonny soit qui mal y pense.[1]

Академическая газета в августе месяце 1884 года узнала, что слово «нигилист» изречено впервые не покойным Тургеневым, а что оно еще ранее встречалось в творениях св<ятых> отец, у блаж<енного> Августина.

Для исторической полноты этой ученой справки академической газете, может быть, следовало бы прибавить, что приведенное открытие в русской печати уже было сделано лет десять тому назад и что честь этого открытия принадлежит покойному сотруднику «Церковно-общественного вестника» Ивану Даниловичу Павловскому, которого не следует спешить забывать, потому что им сделано в литературе много очень ценных и прекрасных замечаний, особенно в области так называемых «исторических курьезов». Впрочем, академическая газета могла этого не знать или не считать за достойное своего внимания.

Но ввиду того, что наши многозначительные издания до сих пор еще считают своевременным и небезынтересным производить изыскания о столь древлепечатном слове, как «*nihi*list», – может быть, позволительно будет сообщить нечто, в самом деле новое о некоей вещи, как бы связанной с представлением о нигилизме.

Я решаюсь думать, что есть люди, которым будет любопытно, а может быть, и полезно, узнать нечто, пролить истинный свет на происхождение слова «ерунда», – слова, которое не только современно тургеневской реставрации слова «нигилист», но которое и само по себе почитается у нас за признак «нигилистической одержимости».

Это странное и действительно очень противно звучащее слово в самой вещи сделалось известным русскому обществу в разгар нигилистических проявлений и вообще ставилось и до сих пор ставится на счет нигилистам, как будто они изобретатели или творцы этого слова.

В сочинении «ерунды» нигилистами почти все уверены, но это, кажется, – совершенно несправедливо. Творцами упоминаемого неприятного, но, к сожалению, вошедшего в сильное и почти повсеместное употребление слова «ерунда» были не нигилисты, а совсем иные люди – не нигилистического культа.

Главную ошибку в этом случае сделали наши эстетики и пуристы русского языка, которым упоминаемое неприятное и вовсе ненужное слово было противно. Они стали доискиваться, откуда могла взяться эта «ерунда», и долго ничего не могли узнать; но когда началась ожесточенная борьба из-за вопроса о классицизме, кого-то осенило вдохновение, и тогда было возведено в печати, что «гадостное слово ерунда» сделано нигилистами из латинского слова *gerundium*, дабы таким образом посмеяться классицизму и унижать его в глазах невежд.

Указанное филологическое открытие, представленное в ученом освещении, показалось большинству людей совершенно достоверным, и с той поры непосредственное, хотя и незаконное происхождение «ерунды» от латинских герундиев утвердилось на прочных научных основаниях, с которых, однако, его, кажется, можно сбросить.

Для этого я позволю себе рассказать, что я об этом слышал, может быть не от очень ученого, но от умного и наблюдательного человека, мнения которого мне кажутся дельными.

Ехал я однажды домой из Москвы в Петербург. Место мое было в спальном вагоне второго класса. Сопутников у меня было полное число по количеству мест в отделении, и были они разного сана и разных лет.

Занимались мы каждый по своему влечению, тем, что кому нравилось. Я, например, читал, а два штатские господина с значительными физиономиями вели громкие разговоры об упадке нравов и вкусов в России и по временам друг на друга покрикивали:

– А кто виноват?

Кроме нас троих, были еще иные три человека, которые не обременяли себя ни литературой, ни политикой, а «благую часть избрали», то есть сидели за раскладным столиком и «винтили».

Это были: военный генерал с недовольным лицом и запасными поперечными перемычками на вагонах, пожилой московский протоиерей в зеленом триковом подряснике с малиновыми бархатными обшлагами и немецкий колбасник в куцом пиджаке, со множеством дорогих колец на толстых пальцах и с большою сердоликовую печатью на раскинутой по груди толстой панцирной часовой цепи.

Это был человек, известный всем истинным любителям и ценителям лучших ветчинных «деликатесов» в Москве и в Петербурге, где он начал свою блестящую колбасную карьеру и распространил ее далеко во все концы империи.

Эти три пассажира «винтили» безумолчно, а штатские ученого вида, перебрав множество любопытных вопросов, добрались до нигилизма и потом до сей глаголемой «ерунды». Тут один из них вскрикнул: «кто виноват!» и начал излагать историю, как появилось это «гадкое и неблагозвучное слово».

Объяснение говорившего было самое ортодоксально-научное, то есть он повторил, что «ерунда» произведена нигилистами из латинского слова «gerundium», и произведена с коварным умыслом, дабы таким образом посмеяться классицизму и вредить ему в общественном мнении.

Я слушал это давно знакомое мне объяснение, что называется, «краем уха» и, признаться, до той поры сам считал его правильным (я даже вложил это в уста протопопа Савелия Туберозова в хронике «Соборяне»); тут я был неожиданно поколеблен в своей уверенности.

Немецкий колбасник, неожиданно прислушавшись к рассуждению о «gerundium» и о «ерунде», повернулся полуоборотом к разговаривающим просвещенным людям и с неприятною резкостью сытого буржуа вдруг оторвал:

– Это неправда!

Штатские переглянулись и замолчали. Им, очевидно, не нравилась прямо колбасническая грубость, с которою было сделано это замечание. Да и в самом деле, оно казалось по меньшей мере непочтительно – хотя бы по отношению к твердо установившемуся ученому, авторитетному мнению.

А тот себе сказал «неправда» и опять уже шлепает толстой рукою карты генерала и ходит швырком под батюшку, – и заботы ему нет, что сделал грубость.

Но колбасник был груб только по манерам, а на самом деле он оказался приятным и даже интересным человеком. Когда поезд стал приближаться к станции, на которой следовало обедать, он крикнул «halt» и, сложив свои карты, заметил партнерам, что перед принятием пищи никогда не следует обременять свою голову деловыми занятиями. Это нездорово для желудка, а надо дать всем высшим способностям краткий отдых, для чего лучше всего заняться какими-нибудь веселыми пустяками.

И вот тут-то он опять обратился между делом к серьезным людям, говорившим о «ерунде», и сказал им следующие слова, которые я желал бы довести до сведения тех ученых, которые открыли, что ерунда произведена из латинского gerundium.

– Вот что вы давеча разговаривали здесь о ерунде, – начал немец, – будто как бы это слово произведено от латинского языка, из слова «gerundium», то это есть самая пустая ложь...

Обоих значительных штатских это перестало сердить и даже как бы начало смешить. Они, очевидно, ожидали, что немец готов сказать большую глупость, а немец продолжал.

– Да; я вас уверяю, что кто это так с самого начала выдумал и кто такую глупость про ерунду выпускал, тот есть, можно сказать, самый превеликий дурак и осел, который своими ушами хлоп-хлоп гулять может.

Отцу протопопу, генералу и мне становилось неизвестно отчего-то очень весело, точно как будто мы имели в наших душах какое-то затаенное недоброежелательство к значительным штатским и предчувствовали, что немец их обработает на манер какого-нибудь из своих деликатесов. Единство мыслей наших обнаруживали наши взоры, в которых немец мог бы прочесть для себя поощрение или по крайней мере желание доброго успеха. А он чистой питерской простонародною речью с московским распевом продолжал свое рассуждение:

– Да, я очень бы хотел видеть того, кто это выдумал, и хотел бы его поздравить, что он есть самый чистый дурак восемьдесят четвертой пробы.

– Да, да, да! – продолжал он, приосаниваясь так, что стал походить с виду на директора гимназии. – Я самый простой производитель, я произвожу торговлю своим деликатесом, и потому моя торговля, можно сказать, не имеет ничего касающегося к науке; но если это о герундии сказал ученый, то черт меня побери, чтобы я принял его с такою наукою к себе самые простые колбасы делать.

Рассказчик подавил себя в мягкую, как подушки, грудь мягкою же, как подушка, рукою и заговорил далее много возвышенным голосом и с воодушевлением:

– До этого, что я делаю свинские деликатесы, ученым нет никакого дела, – это мое мастерство, и я кушаю мой хлеб и пью мою кружку пива или мою бутылку шампаньер, – до этого никому нет надобности, и я никакого черта не спрашиваюсь. Но я знаю тоже, что есть и gerundium! Да-с; я учился в Peter-Schule у доктора Кирхнер, при старой хорошей Дитман и при инспекторе Вейерт, и добрый старичок Вейерт даже меня очень авантажно сек за то, что я вздумал было вместо школы ходить шальберт по улицам, и я перестал шальберт и стал учить и супинум и герундиум. Но самая важность, если кто понимает, что значит учиться в жизнь! Это надо с рабочими людьми!.. И оттого я опытный, и я знаю и по-латыни и по ерунде!

Мы все выражали на наших лицах недоумение: что это такое значит «знать по ерунде», а отец протопоп далее не выдержал и предложил:

– Любопытно, но невразумительно: нельзя ли пояснить яснее.

Деликатес рассмеялся, коротко и радушно пожал отца протопопа за коленку и сказал:

– Извольте – поясню: ерунда идет от нас – от колбасников.

И затем он сделал нам нижеследующее фактическое сообщение, которое я для краткости передаю вниманию ученых в сжатой и простейшей форме (что и более соответствует серьезности предмета).

Когда немецкий простолюдин, работник, в разговоре с другим человеком одного с ним круга хочет кратко высказаться о каком-нибудь предмете так, чтобы представить его малозначительность, несамостоятельность или совершенное ничтожество, которое можно кинуть туда и сюда, – то он коротко говорит:

– Hier und da.[2]

Между работниками из немцев в Петербурге это краткое и энергически определенное выражение в очень сильном ходу. Особенно часто его случается употреблять в колбасном производстве при сортировке мяса. Одно назначают к составлению «деликатесов», другое к выделке низших сортов, а затем еще образуется из отброса такой материал, который один, сам по себе, никуда не годится и ничего не стоит, но может быть прибавлен туда и сюда – «hier und da».

Работники-немцы в Петербурге зачастую работают рука об руку с мастеровыми русского происхождения, – и еще более они сближаются в «биргалах», за кружками, причем у подпивших немцев «hier und da» сыплется еще чаще, чем за работою в колбасных и чем в обыкновенном, трезвом разговоре.

Русский собеседник или собутыльник вслушивается в эту фразу, незаметно привыкает к ней и, будучи от природы большим подражателем, – сам начинает болтать то же самое, но, конечно, немножко приспособляя немецкое произведение к своему фасону. Отсюда простолюдин, непосредственно занявший часто упоминаемое здесь слово у

Воспоминания. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru немцев, о сию пору выговаривает его «хирунда», а люди образованные, до которых слово это дошло уже передачу через полпивную – облагородили его по своему вкусу и стали произносить «ерунда». В этом виде оно принято и, к сожалению, усвоено кое-где в русской печати. Немецкая же печать, которой слово «ерунда» по этому производству должно бы быть ближе, – примером русским не увлеклась и ему не последовала.

Вот история этого словопроизводства, как ее раскрыл и за достоверное передал нам наш русский соотечественник немецкого происхождения.

Мне этот рассказ практического и наблюдательного человека показался и интересным и очень вероподобным, и я при удобных случаях не раз пробовал его проверять. В результатах почти всегда получалось, что рассказанное колбасником о происхождении слова «ерунда» от немецкой поговорки: «hier und da» должно быть верно. В этом, во-первых, утверждает мнение многих русских немцев, которые знают быт русского и немецкого мастера и подмастерья в Петербурге, а во-вторых, и те изменения, которые претерпевает само названное слово.

Замечательно, что в низших классах петербургского обывательства люди до сих пор произносят это слово не поврежденно, как произносят благородные, а во всей его изначальной чистоте, – «яко же прияша», то есть они говорят не «ерунда», а «хирунда». Таковы же у них и на глагольные формы этого слова: «что хирундишь», «не хирунди». В русской печати наглагольные формы этого корня впервые стал употреблять музыкальный критик К. П. Вильбоа, но звук «хи» им был откинут, а новый глагол в его начертании написан «ерундить». Критику Вильбоа смело последовал М. М. Стопановский, а потом и другие. Помнится, как будто где-то не уберег себя от этого увлечения даже А. А. Григорьев, чего от него можно было не ожидать, так как Григорьев был хороший знаток русского языка и имел образованный литературный вкус.

Впрочем, многие тогда приспособлялись приручить это слово на разные лады, и некоторые иногда достигали хороших успехов. Так, например, вскоре же начальнику какого-то женского учебного заведения назвали печатно «ерундихой», а Льва Камбека – «ерундистом». И то и другое очень понравилось. Приехал сочинитель оригинальной музыки г. Лазарев и дал концерт, а потом В. В. Толбин возвел этого hier und da в сан «ерундиссимуса короля абиссинского». Слово вытягивалось на соразличные фасоны, и бумага терпела, но и здесь, как и везде, вероятно многое зависело от счастья. Ст. Ст. Громека хотел вывести слово «ерундение», то есть занятие ерундою. И намерение его было самое доброе, чтобы застыдить «ерундистов», но редактор «Отечественных записок» Ст. С. Дудышкин никак не решался пропустить в своем журнале такое слово и все его вычеркивал. Громеке это стоило крови. Иногда он брал Дудышкина круто и сильно его убеждал, что как от игры на гудке может быть «гудение», так от игры на ерунде производится «ерундение». Дудышкин соглашался и обещал пропустить в печать «ерундение», но когда дело доходило до последней корректуры, смелость его покидала, и он всегда, где только было слово «ерундение», вытравлял его... А между тем, надеюсь, еще всякому понятно, что «бурно-пламенный Громека» ни в одной поре своей деятельности нигилистом не был, но ему просто из благонамеренности хотелось пропустить в свет «ерундение». Не удалась это, – он пошел в чиновники и скончался губернатором, с прозвищем «Степан-креститель». [3]

Сохранение «ерундящими» простолюдинами в их произношении звука «хир» есть, без сомнения, немецкое «hier», и это в данном маленьком вопросе, мне кажется, составляет признак того «последовательного закона» в изменениях и перерождениях всякого рода, о котором говорит Геккель.

Если же все это так, то очевидно, что нигилисты тургеневского крещения не имеют никакого права на то, чтобы наука им приписывала обогащение русского языка новым, очень незавидным словом. А равно следует, кажется, признать и то, что тут совсем нет ни латинского корня, ни сознательного намерения профанировать классицизм, а вернее, что все это есть не более как сильное влияние полунемецкой петербургской полпивной на малообразованное российское общество и на ту часть русской литературы, которая во время оно к полпивной прислушивалась, полагая, что тут-то и сидит самая русская народность.

Словом, «ерунда», или «хирунда», пробралась в простонародную речь так же точно, как «карнолин», «спеньжак», «блиманжет» и многие другие чужеземные слова, нашим городским простонародьем занятые у иностранцев и испорченные на свой лад. А в

Воспоминания. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
класс людей образованных и отчасти в литературу оно перешло по неуместной подражательности, по любви к простонародности и, может быть, отчасти по безвкусию.

Эстетики и пуристы языка, конечно, имели очень достаточное основание негодовать, что в наш богатый и благозвучный язык насильно втиснуто слово «ерунда», имеющее совершенно тождественное значение с тем, что до тех пор полно, ясно и для всех совершенно понятно выражало русское слово чепуха, но едва ли не сами же эстетики много помогли удивительному распространению этого пустого слова в обществе и особенно в литературных низах, считавших своим призванием враждовать с эстетикой и с классицизмом. Эстетики сделали вредную ошибку, уверяя себя и других, что «сочинение» этого слова принадлежит «нигилистам» и имеет втайне протестующее значение – в смысле профанации классической филологии. При господствовавшем в то время общественном настроении всем недоброжелателям классицизма это даже нравилось и никак не могло остановить, да и не остановило, распространения нежеланного слова. Напротив, с тех пор, как это связали с нигилизмом, «ерунда» только чаще засверкала как в разговорном языке, так и в языке литературном. Между тем, кажется, более простое, но, может быть, более вероятное разъяснение происхождения этого слова от жаргона немецкой полпивной, пожалуй, скорее могло бы удержать подражателей и тем принести желательную пользу благообразному старанию желавших охранять чистоту русского языка от жаргонной прививки. Но, к сожалению, в то время, как и после, люди, имевшие очень похвальные цели, не всегда руководились в своих действиях благоразумием, а наипаче часто увлекались мнительностью и страстностью, и «такое сами на хребтах своих множицею пороботаша».

Затем, конечно, остается неуследимым: кто же именно первый занес это слово в литературные кружки шестидесятых годов? Теперь с достоверностью отвечать на этот вопрос совершенно невозможно. Но Ал. Ф. Писемский, которому его художественное чутье сразу подсказывало, что слово «ерунда» имеет не претензионно-партийное, а простое, низменное, уличное происхождение, – с серьезным видом уверял, будто от «сам видел, как Павел Якушкин принес ерунду у себя за голенищем из надлежащего места в редакцию В. С. К<урочки>на, откуда она и разлилась малиновым звоном под облака».

Сколько в этой шутке есть справедливого, – я не знаю и судить об этом не берусь; но если это было так, как намекал Писемский, то вдвойне смешно, что такое вполне нерусское слово привил русскому литературному языку такой безупречный блюститель чистейшего руссизма, как Павел Иванович Якушкин.

<ТОВАРИЩЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О П. И. ЯКУШКИНЕ>
Жил на свете живулечка, как ему господь повелел.

Сказка о Живульке.

Мы с Павлом Ивановичем Якушкиным были земляки в тесном смысле: оба мы родились в Орловской губернии и даже в смежных уездах, – он в Малоархангельском, а я в Орловском; но Павел Ив<анович> был значительно меня старше. Он вышел из Орловской гимназии в тот год, когда меня привели туда девяти лет в первый класс и посадили на одну скамью с младшим братом Якушкина – Виктором.[4]

В гимназии Павел Иванович оставил по себе в ближайших поколениях героические предания: говорили о крайней его небрежности в туалете, и особенно о его «вихрах». По выражению одною из наших надзирателей, [5] этими вихрами Якушкин «убивал господина директора», а другие ученики в том ему старались подражать. Павла Ивановича, по рассказам, так страшно преследовали за его «вихры», что однажды даже директор [6] или инспектор выставляли его «на выставку», в пример, «как не должно себя содержать». Это произвело впечатление, и многим «вихры» Якушкина так понравились, что явилось большое число подражателей; только таких «неповиновенных вихров», [7] какие без всякого особенного старания произрастал у себя Якушкин, ни у кого не выросло. При всех стараниях у других учеников являлись только «лохмы», или, как инспектор Азбукин называл, – «патлы», но настоящей, типической вихрястости, какую отличался Якушкин и которая давала ему вид «дикобраза», ни у кого из воспитанных ему не было.

Подражателей якушкинской прическе остепеняли суровыми мерами, при содействии сторожей Кухтина и Леонова, которым приказывали «обрывать патлы», что сторожа и исполняли, производя стрижку нарочито тупыми и необыкновенно щиплющими ножницами. «Обрывали» таким же манером не раз и самого Якушкина; но ему это не

Воспоминания. Николай Семенович Лесков Leskovniko1ai.ru приносило пользы, потому что его могучие вихры, которыми он «убивал господина директора», на другой же день опять торчали, как будто их выпирала из головы какая-то сверхъестественная сила. Это частью заходило даже в область чудесного: Якушкин представлялся чем-то вроде тунгусского чудотворца, который, проведя рукою по распоронному брюху, заживляет рану в одно мгновение ока. О Якушкине говорили, что его остригут, а он сейчас же себе будто на ладони поплюет да проведет ими по волосам, и буйные вихры его сейчас опять и поднимутся. Притом же и самому начальству было неприятно часто стричь Якушкина, потому что Павел Иванович при пострижении его «грубо оправдывался такими мужицкими словами, что во всех классах помирили со смеху».

Направление к простонародности у него, значит, уже формировалось еще в школе, и учитель немецкого языка, Василий Александрович Функендорф, кажется, первый отметил это направление и кликал его не иначе как:

– Мужичка чучелка!

II

Прошло много лет, я жил в Киеве, потом в Пензе, и с П. И. Якушкиным мы не встречались до его псковской истории с Гемпелем. В это время я был в Петербурге по делам торгового дома, которыми занимался. Павел Иванович был тогда героем дня, и им все интересовались. Я встретился с ним, и мы сразу же друг друга вспомнили и заговорили по правам школьного товарищества на «ты». Он уже тогда «ходил мужиком» – в красной рубахе и в плисовых шароварах, но носил очки, из-за которых настоящие мужики ни за что не хотели его признавать «мужиком», а думали, что он «кто-то ряженный».

Это Павла Ивановича минутами очень досадовало.

– Какой я вам «ряженный», черти! – добродушно бранился он с мужиками.

– Ряженный и есть... черт! – отвечали ему любовно мужики.

III

Почитателей своих в литературе Павел Иванович иногда ставил в большие затруднения насчет его «странного характера». Так, например, я помню, покойный С. С. Громека («бурнопламенный») однажды был страшно взволнован тем, что Павел Иванович появился в Павловске на музыке в своей «одной штанине», в сообществе какого-то незнакомого полковника, с которым держал себя на самой дружеской ноге, и всех знакомых звал к своему столику, где за подаваемые кушанья и питья расплачивался этот полковник.

Громека спросил Якушкина:

– Кто это такой, ваш приятель?

– Отличный малый, – отвечал Якушкин, – отличный малый.

– А как его зовут?

– Гемпель.

– Как Гемпель!

– Гемпель.

– Псковский полицеймейстер?

– Да.

– Тот самый, который сажал вас в кутузку?

– Да, да, тот самый.

Громека посторонился, но Якушкин усиленно его влек за стол к Гемпелю и после находил удивительным: «чего на него люди сердятся, когда я не сержусь? Он чудесный мужик и свое дело делал. Чего же сердиться? Мы помирились».

IV

Когда Петр Дм. Боборыкин издавал «Библиотеку для чтения», Павел Иванович часто посещал эту редакцию (на Итальянской в доме Салтыковой). Мы тогда сходились по вечерам «для редакционных соображений». Приходил и Павел Иванович, но «соображений» никаких не подавал, а раз только заявил, что «так этого делать нельзя».

- Как «так»? – спросили его.
- Без поощрения, – отвечал он.
- А какое же надо поощрение?
- Разумеется – выпить и закусить.

Мнение Павла Ивановича поддержали и другие, и редакционные соображения, изменив свой характер, обратились в довольно живые и веселые «поощрения», которые, впрочем, всякий производил за свой собственный счет, ибо все мы гурьбою переходили из голубой гостиной г. Боборыкина в ресторан на углу Литейной и Семеновского переуллка и там нескудно ужинали.

V

Вскоре за этим в литературе последовал великий раскол: из одного лагеря, с одним общим направлением к добру, – образовались две партии; «постепеновцев» и «нетерпеливцев».

Якушкин как будто ничего не понимал в этом разладе и не прерывал своих отношений с товарищами из постепеновцев и нетерпеливцев. Он с одинаковым спокойствием и искренностью появлялся и в редакции «Отечественных записок», где около покойного Дудышкина сгруппировались постепеновцы, и в «Современнике», где бодрствовали нетерпеливцы. Я тогда остался с постепеновцами, умеренность которых мне казалась более надежною. За это я был порицаем много.

Якушкин во все это время не прерывал со мною сношений, но зато прелюбопытно: как он понимал мое положение и считал ли за серьезность всю эту литературную распрю?

VI

Раз, после одной из моих побывок за границу, проездом через Вену я купил себе ботинки из желтой, нечерненой американской кожи, с ременною шнуровкою спереди. Обувь этого рода тогда только появилась в Вене, и мне показалось, что такие ботинки очень удобны для жаркого времени; но когда я приехал в Петербург и увидел, что здесь таких ботинок никто не носит, – то я и свои оставил без употребления.

Жил я тогда в доме Тацки на Литейной, против Бассейной, неподалеку от квартиры Е. Н. Эдельсона, у которого Якушкин часто бывал и «получал поощрение», а оттуда одно время взял за правило заходить ко мне ночевать. Случалось, что он приходил ко мне, когда меня не было дома, и сам укладывался спать, всегда неизменно на одном «собачьем месте», то есть на подножном коврик у моей кровати. Как я ни упрасивал не ложиться здесь, а располагаться где-нибудь на диванах, но он на это ни за что не соглашался по какой-то деликатности. У меня была о ту пору горничная, молодая девушка немка, Ида, которая и сама была похожа на барышню и квартиру содержала в величайшей чистоте и наблюдала за нею беспрестанно. Крайний неряха Якушкин и эта Ида составляли две самые непримиримые противоположности. Друг с другом они никогда не объяснялись, но питали один к другому какие-то несогласимые чувства: немка ужасалась, «как может быть на свете такой человек и зачем его принимают», а Якушкин «боялся ее огорчить». Из-за этого он ни за что не хотел ложиться на мебель, чтобы не допустить немку убирать что-нибудь после его спанья, а свертывал в комочек свои сапожонки и свитенку и, бросив этот сверток на коврик, ложился и засыпал у самой кровати.

Разумеется, это было очень стеснительно и неудобно, но заставить Павла Ивановича поступать иначе не было никакой возможности. Он твердо и упрямо отвечал:

- Не хочу немку сердить, а я грязный: она будет обижаться.

Самой странной деликатности в нем было столько же, как и самой странной наивности, в пример которой я приведу следующий смешной случай.

VII

Однажды, проснувшись на своем «собачьем месте» ранее всех, Якушкин походил по комнатам, взял со стола в кабинете книжку «Современника», где я был на тот случай образцово обруган с обычными намеками и подозрениями, и, прочитав эту статью, сказал мне:

– Знаешь, я сейчас пойду к Некрасову и скажу, что это свинство. Он говорит о тебе хорошо, а позволяет писать совсем скверно. Я их за тебя сам обругаю.

Я, разумеется, просил его ничего в этом роде не предпринимать, и он дал мне в том слово и сейчас же без переходов спросил:

– А что это у тебя за неспособные сапоги?

– Какие и где?

– Да вон... я вижу... желтые, стоят под кроватью.

Я взглянул под кровать, куда смотрел Якушкин, и, увидев мои венские ботинки, сказал ему, где я их купил и почему их не ношу.

– Еще бы! – воскликнул он, – какой же шут их носить станет!

Тем этот разговор был и покончен, но когда я дня через два после утренней прогулки вернулся к обеду домой, меня удивило нечто неожиданное и с порядками моей квартиры несогласное: в ногах у моей кровати, на том же самом коврике, на котором излюбил спать Якушкин, валялась пара самых отчаянных, самых невозможных отптов, с совершенно рыжими голенищами и буквально без подошв...

Я удивился, а моя немка так и всплеснула руками.

– Это (говорит по-немецки) опять заходил на минутку этот мужик в очках, и вот...

Она выбежала в ужасе в кухню и явилась оттуда с двумя длинными лучинами, которыми поддела оставленные Якушкиным сапожные отптки и с брезгливостью понесла их, вытянув вперед свои белые руки, чтобы сапоги были от нее как можно дальше.

Смешно было смотреть, как она выносила их, точно как будто двух ядовитых гадов, но некогда было смеяться от удивления: зачем же Павлу надо было приходиться ко мне, чтобы у меня разуться, и в чем же он ушел от меня? Неужели босой?

Немка была так взволнована этим неслыханным, не вмещавшимся в ее голове ужасным событием, что только повторяла:

– Das ist kein Mensch, das ist ein Teufel![8]

Но «Teufel»[9] оставил у меня на столе рукописание, которое все разъяснило.

VIII

На столе, на неоконченном листе моей текущей литературной работы, карандашом рукою Якушкина было начертано следующее:

«Был у тебя и взял твои немецкие сапоги, которые ты не носишь. Получи за них семь рублей от Некрасова».

Чтобы оценить эту наивность, нужно знать, что я с Николаем Алексеевичем Некрасовым лично знаком не был до весьма поздней встречи с ним в доме В. П. Гаевского; и с редакцией «Современника» никаких дел не имел. Там я был только постоянно руган за мое недобрительное направление, которое приписывали даже подкупу. И Якушкин все это знал и даже за два или за три дня возмущался некоторыми прочитанными им обо мне отзывами, но вдруг оказалось, что при всем этом он находил вполне естественным, чтобы я пошел к Некрасову «получить семь рублей»... И почему именно – семь, а не восемь или не пять, не четыре? Это так и осталось, разумеется, его секретом. Вероятно, он вспомнил, что когда-то платил за сапоги по семи рублей, или так он оценил по достоинству мои «неспособные ботинки», этого я уже не знаю. [10]

Все это, разумеется, меня сместило, а мою немку привело в такую горечь, что она расплакалась. Ей эта пустая история представлялась ужаснейшей, злокозненной хитростью и коварным подвохом под ее домосмотрительскую репутацию. И как иначе: у нее, у самой аккуратнейшей в мире девушки, у которой хозяйская нитка пропасть не может, вдруг среди белого дня ушли из-под кровати целые ботинки, и притом такие новые и такие необыкновенные!..

Человек, который нашелся так это сделать, – конечно, представлялся ей не иначе, как самым опасным хитрецом и даже, может быть, чем-нибудь хуже.

IX

В тот же самый день вечером я встретил Павла Ивановича в Демидовой саду, где он стоял и беседовал с двумя цыганами из певшего здесь Курского хора.

Первое, на что я обратил внимание, разумеется, были его ноги. Я представить себе не мог: как это Якушкин предстанет миру в своей мужичьей свите и «штанине», в красной рубахе и «неспособных» желтых ботинках венской работы со шнуровкой! Но у него, оказывается, был вкус и гораздо лучшее понятие об ансамбле: на нем уже были опять надеты какие-то рыженькие сапожонки с голенищами и на сей раз даже с некоторыми подошвами.

Это возбуждало во мне любопытство, а он сам не замедлил его удовлетворить.

– Я у тебя был, – сказал он, повидавшись. – А ты был у Некрасова?

– Нет, – говорю, – не был.

– Сходи, я ему уже сказал. Повидайтесь... он умный.

– Да на что же тебе, – спрашиваю, – ботинки? Ведь ты сам называл их «неспособными». Куда они тебе к твоему убору?

– Куда они к черту годятся! Я их на рынке скинул.

– Зачем скинул?

– Куда они годны: я вот эти выменял.

И он с спокойствием ловкого дельца показал мне свои опять едва живые сапожонки, которым на рынке красная цена тогда была полтинник.

Зачем он построил всю эту комбинацию, вместо того чтобы взять прямо семь рублей у Некрасова или надеть у меня другие, рядом стоявшие черные сапоги обыкновенного фасона, – так и не знаю.

Наверно, тут пронеслась в его голове какая-то ассоциация идей, быть может даже он имел в виду мои выгоды и хотел без убытков избавить меня от ненужной, «неспособной» вещи... Некто из знавших это писателей допускал даже такую смешную мысль, что не думал ли Павел Иванович устроить при посредстве упомянутых сапогов свидание мне с Некрасовым, с расчетом, что это, может быть, поведет нас к дальнейшему литературному сближению? Понимать деяния Якушкина иногда бывало трудно, и от наивности его можно было ожидать соображений самых невероятных.

X

Припоминается еще такой характерный случай. Приходит однажды ко мне П. И. поздно ночью и объявляет, что его звал к себе граф Строгонов и что он к нему пойдет. Мы поговорили и легли спать. Я думал, что, может быть, это правда, а может быть, и нет; а если и правда, то, наверно, еще не скоро, не вдруг последует ее осуществление. Утром П. И. встал раньше меня и отправился по своему обыкновению сам на кухню «командовать сорокушкой». Сорокушка была подана и немедленно же получила вся сполна свое надлежащее употребление. При моем чае было новое повторение приема, а затем я стал собираться на остров, где тогда была какая-то художественная выставка.

– А подвези меня... это тебе по дороге, – поднялся Якушкин, – я поеду к Строганову.

Воспоминания. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

– Не лучше ли другой раз? – говорю.

– А для чего это «другой раз», когда он нынче звал меня завтракать. Который час? Я говорю – двенадцать.

– Вот это, – отвечает, – самое время.

Поехали. Это было зимою, на санках. Но только что выехали с Караванной на Невский, как вдруг Павел Иванович закричал: «Стой» и осадил извозчика за руки.

– Что тебе? – спрашиваю.

– Надо, – говорит, – здесь подождать: я вспомнил, граф Строгонов звал меня завтракать не в первом часу, а позже.

– Где же ты будешь ждать?

– А вот в пивнице. Пойдем, пирожков поедим и досидим до времени.

День был прекрасный, погожий, и проспект был залит народом, так что у меня решительно не достало отваги исполнить настойчивое и неотступное требование Якушкина. А Павел Иванович мужественно стоял на тротуаре и, топоча как еж, сердито убеждал меня следовать за ним в пивницу. Настояние производилось в выражениях столь энергических, что надо было поспешить это кончить.

Я его обманул – сказал, что сейчас съезжу неподалеку по нужному случаю и вернусь к нему, а его ставил в обеспеченном на тот час благоустройстве.

В пивницу я к Павлу Ивановичу не возвращался, а увидел его, – не помню уже теперь наверное, – в тот же или на другой или на третий день вечером опять у себя.

– Что же, – спрашиваю, – был ты у Строганова?

– А как же, – говорит, – был.

– Ну, и что же вышло?

– Ничего... все очень хорошо. Он поздоровался сейчас и говорит: «А вы, господин Якушкин, уже позавтракали?» Я говорю: «Да; немножко выпил». Он говорит: «Что же теперь делать?» А я говорю: «Еще выпить».

Подали еще завтрак и вино, но что там далее произошло, Якушкин в последовательном порядке не рассказывал. Вообще же Павел Иванович графа Строганова (покойного) очень одобрял и хвалил, но проку-то из всего их многозначительного свидания никакого не вышло, и можно быть уверенным, что причину этого случая был не граф. Граф, сколько я могу судить по некоторым верным слухам, имел самые серьезные намерения пособить Якушкину в средствах для его исследований. Покойный граф любил русское искусство и умел основательно помогать русским искусникам (я знаю это на живом примере одного молодого человека, которого я провел к Строганову через С. Е. К.); но наш Павел Иванович был такой несуетный человек, что с ним дело не клеилось. Не было в нем решительно никакой деловитости, и мог он всякую какую угодно выгодную и серьезную комбинацию обратить в самые сущие пустяки.

XI

В философском или учительном роде я помню такой случай. Приехал ко мне в Петербург брат мой, доктор, и имел при себе для услуг нашего бывшего крепостного человека, орловского крестьянина Матвея Михайлова Зайцева, который был некогда у меня кучером и ходил по-кучерски, в кумачной рубашке и в поддевке. В Петербурге он нам прислуживал за лакея и в этом виде предстал Павлу Ивановичу, который сразу его облюбывал и закатил ему в наше отсутствие такое «поощрение», что тот, хотел отпереть нам двери, мог только ползать по полу на четвереньках, а потом заболел и начал Павла Ивановича бояться.

Раз зашел у нас вечером спор по поводу тогдашнего вопроса о народничестве, к которому мы нынче опять съехали. Павел Иванович во время наших споров не раз

Воспоминания. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru
уходил к Матвею за перегородку в передней, и после нескольких таких заходов вдруг вывел оттуда бедного парня за руку, поставил его посреди нас, обнял его перед всею компаниею, расцеловал и объявил:

– Все, что вы толкуете, есть глупости; а хотите иметь смысл, так вот у него учитесь!

И при этом он торжественно указал на Матвея и опять поцеловал его. Чему было учиться у Матвея, мы не поняли.

Мой бедный Матвей запил и удавился в Киеве, никому не разъяснив того народного смысла, который в нем провидел своим оком П. И. Якушкин.

XII

Увезли Павла Ивановича из Петербурга в ссылку в Орел, а потом в Астрахань без меня. Я тогда жил за границую, во Франции. Трогательную историю его удаления лучше всех знает уважаемый Сергей Васильевич Максимов. Ее нельзя слушать без душевных мук и глубочайшей горечи. Эту олицетворенную простоту, этого ребенка, требовавшего няньки, везли с жандармом, а на чужбине над ним судьба строила иную забавную шутку. В Париже, в Пале-Рояле, в это самое время продавали его фотографические карточки (копии с фотографии Берестова и Щетинина), под которыми по-французски было написано «Pougatscheff».

Это те самые карточки, на которых Павел Иванович представлен сидящим на балюстраде, в очках и с подогнутыми под себя ногами. Вихры его там изображены во всем их неподражаемом великолепии, точно как будто Павел Иванович в самом деле окончательно решился «убить господина директора».

Я убеждал одного из палерояльских торговцев, что изображенное лицо совсем не Пугачев, а современный русский писатель Якушкин, но француз мне не поверил и сказал, что он это лучше знает. Под обозначением «Пугачев» фотографии Якушкина, разумеется, шли бойче.

Я привез в Россию и раздарил здесь несколько таких карточек с обозначением «Pougatscheff».

XIII

Личное мое мнение о покойном Павле Ивановиче такое, что это был человек в своем роде талантливый и очень добрый. Доброта у него преобладала над умом и выходила не из сознания превосходства добра над злом, а прямо безотчетно истекала из его натуры. Это была Доброта органическая и потому, стало быть, самая прочная и надежная. Изменить ей Якушкин никогда бы не мог, потому что для него это значило перестать быть самим собою. Но добра он делать не умел, – потому что никогда в этом не упражнялся, да и вникать прилежно в дела не имел ни времени, ни способности. Он мог только отдать нуждающемуся все, что у него было, но у него у самого чаще всего ничего не было. Доброта его была чисто пассивная, выражавшаяся всего более в высочайшей и, может быть, наисовершеннейшей форме самого прекрасного и пленительного – трогательного незлобия. Он не только мог прощать все, – решительно все, но он даже не мог не простить чего бы то ни было. Врагов у него буквально не было, а понятия его об обидах были удивительные.

Раз он рассказывал мне, как к нему где-то за Невскою заставою «придрались» какие-то «фабричные ребята» и его «потолкали».

Сомнительно им показалось: мужик, а в очках ходит?!

– Думали, не подослан ли с каким намерением, – сказывал Якушкин.

– Но как же у вас до толканья-то дошло?

– Так... кто ты да что ты, – ты-ста, да вы-ста ёры с подвохами ходите, да и давай толкаться.

Отнял его от обидчиков городской. Я спросил: не имело ли это каких дальнейших последствий?

– Нет, – говорит, – всё миром кончили: городской нас всех хотел в часть весть, а я замирил.

– Кого же ты замирил?

– Всех.

– Да кого же всех? Там ведь никого кроме тебя и не толкали.

– Конечно... Неужели же я стану толкать? Да ведь и они это сдуру... такая фантазия им пришла, что говорят: «Мужик, а очки зачем носишь? мужики не носят», и давай толкаться... Совсем не по злости... Это понимать надо! Я и городовому сказал: «Это надо понимать», – все на мировую и выпили.

– И городской?

– Разумеется. Все. Что еще спросил: как же без городского?.. Всех, брат, понимать надо.

Но у него были порывы смелого и самоотверженного великодушия, в пример которого можно привести его находчивую выходку с букетом, брошенным к позорному столбу Н. Г. Чернышевского.

Якушкин спас девушку, бросившую этот букет.

XIV

Об уме Якушкина, мне кажется, судить довольно трудно. Одно можно сказать, что ум у него был склада оригинального, с чисто мужичьим созерцанием, но в хорошие мужики Якушкин тоже не годился бы. Родись Павел Иванович не в дворянском доме, а в мужичьей избе, он никогда не сделался бы ни домовитым, ни уважаемым хозяином и не дал бы семье никакого распорядка.

Резкий, но меткий в своих определениях Алексей Феофилактович Писемский, говоря однажды о том, чем бы мог быть Якушкин в настоящей крестьянской среде, выразился так:

– Был бы он у них, что называется, забулдыжка, которому никто бы не дал взаймы ни косы покосить, ни сохи пропахать (потому что он их испортит и опять не наладит); но в кабаке все бы его слушали и приглашали бы его посидеть на завалине, на свадьбу чарку бы подносили, чтобы балагурил. А если бы пришло какое-нибудь дело насчет земель и надо бы миром на выгоне стать, то забулдыжку бы впереди всех поставили, – чистым полотенечком его занавесили бы, а на грудь в белы ручки образок дали бы. И он бы так стоял с образком, как святой. А если бы стрелять в них стали, то он так бы первый и копырнулся, обливаясь кровью от первого же выстрела. А велел бы ему мир на колени пасть, – он бы и на колени пал. Такое его определение: ни в чем от мира не прочь и на мир не челобитчик.

Это, может быть, верно.

Беседы с Якушкиным, когда он находился «в плепорции», были часто очень интересны, он знал много любопытных вещей из народного быта и хорошо рассказывал. Судил он всегда очень честно, но иногда не толково, а в поступках других людей часто был лишен способности различать между добром и злом и ни в каких мало-мальски сложных делах для совета вовсе не годился.

Обращался он с своим умом так же, как и с своим здоровьем или как с своей репутацией, то есть варварски беспощадно; но добрые и умные люди при всем этом Якушкина не только любили, но даже что-то такое в нем и уважали.

Уважали в Якушкине, я думаю, наверно его святое, всепобеждающее незлобие, которому нельзя было указать ни границ, ни подходящего примера. Он в этом превосходил все и всех.

Если за это пленительное свойство души смертному может быть присуждена святость в другом мире, то покойный Павел Якушкин имеет на нее все права и даже со всеми особенными преимуществами.

Незлобие его поистине было – незлобие праведника.

XV

Воспоминания. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Как он жил в ссылке в Орле? – это немножко известно: он скучал и томился, ему хотелось идти, бродить и записывать. В Орле у него были друзья, но немного. Занимательность, которую он представлял собою для людей сердечных и мыслящих, не имела никакого значения для простых «дворянских чистоплюев», которые скоро стали указывать на неряшливый костюм Якушкина и на беспорядочность его безалабернейшей жизни. «В отечестве своем» Павлуше было худо, и он сам «упросился» в места более отдаленные... Прощение его об этом составляет верх курьеза и трогательности: просил он выслать его, чтобы мать не видала, как он болтается без дела...

Его послали в Астрахань, а потом всё как-то переводили.

Как могло жить под надзором полиции это доброе, доверчивое и наивное дитя, нуждавшееся в нежном надзоре няньки, – это трудно, да и мучительно себе представить. И из этой последней поры его жизни, кажется, в литературной семье нет до сих пор никаких сведений. Одно только знали, что князь Александр Аркадьевич Суворов, при котором Якушкин был выслан из Петербурга, при отправлении его «обошелся с ним презрительно». С Якушкиным его светлость оставил даже те границы, до каких доходил в Риге, ругаясь «потливости русских рабочих» и сравнивая отцов их с «кобелями».

Не в его вкусе была русская порода людей!

Прощальный разговор Якушкина с князем Суворовым подробно неизвестен, но кто знает натуру Павла Ивановича, тот может смело поручиться, что Якушкин наверно вел себя не униженно. Да, и в этом невыгодном положении, в котором он предстал Суворову, он непременно держал себя с достоинством, которое считал ни во что с «своим братом», но мастерски и с редким в русских людях тактом умел сохранять «перед особами».

Одна уже эта способность чистой, младенческой души Якушкина, мне кажется, обязывает думать, что ему было свойственно настоящее, прямое благородство.

Павел Иванович хотя был смирен и незлобив до крайности, но не боялся ни сумы, ни тюрьмы и, как «сельский лирник» Сырокомли, «не гнул головы ни перед кем». Мужик, по недоразумению, мог его потолкать, но на светлейшего Суворова он, пожалуй, мог и сам вытаращиться и даже прикрикнуть...

Семь бед – один ответ.

Из всех прозвищ, какие люди давали Якушкину, более всех идет ему название, какое дано покойнику дружбою Сергея Васильевича Максимова, – это название «божий человек».

XVI

Но поелику в наше время самый краткий очерк какого бы то ни было лица не может быть заключен без определения «политических» и «социальных» отношений описываемого деятеля, – то скажу нечто и об этом.

Политика Якушкина занимала очень мало, или, точнее сказать, – она его совсем не занимала. Смена и назначение новых должностных лиц в России его не радовали и не печалили: он махал рукой и говорил: это «все едино»... Формы правления для него были все безразличны – «как народ похочет, так и уставится», но он ничего за народ не предрешал и не возвещал от себя в лице «всечеловека». «Как народ похотел, – так и добро». Народ это собственно или преимущественно были «мужики». Аксаков не годился – «он у немцев учился». Но Якушкин за народ никогда не лгал, как есть то в обычае у прочих. Он не выдумывал от лица простолюдинов таких нелепых, тенденциозных и никогда в народе не обращавшихся слов, как, например, «господчина» (в смысле представительства). Политического насильственного революционизма в Якушкине не было нисколько, – «потому что – не для чего: миром разберемся». Но над тем, что было смешного или нелепого в делах правящих лиц, он, как все, любил посмеяться, и порою делал это метко и остроумно. Одна из таких застольных выходок ему и причлась в вину.

Социальные симпатии Якушкина были все на стороне рабочих людей – особенно батраков, фабричных и вообще всей подобной «голытьбы», которую, по его словам, «хозяева заморить готовы и могут заморить, если те сами в свой разум не придут и не узнают, как они нужны». Идеал у него был какая-то всеобщая артель, идеал большой, смутный и, сколько я смею судить, – самому ему непонятный. Если в речах

Воспоминания. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
Якушкина с простолюдинами было что-нибудь горяченькое и удобное для возведения в перл создания, то это, вероятно, были разговоры в этом же артельном духе: «что вы, дескать, не понимаете, что купец один, а вас – во сколько! Вы купцу нужнее, чем он вам. Ему без вас ни чихнуть, ни головой метнуть». Затем, если его приглашали на пирог к тому же купцу, то он и туда шел и тому что-нибудь толковал.

«Шабаршит что-то», – говорили о нем фабричные и опять становились за свое дело, «чтобы штрафа не вычли».

А пока те работали, Павел Иванович опять «поощрялся» на дальнейшие столь же невинные подвиги, которые, кажется, никого даже и в шутку не пугали. Над социализмом, как его понимают полунеужды и пристава, Якушкин смеялся и считал этого рода социализм «глупостью», хотя, впрочем, прибавлял:

– А по мне – все одно, – делитесь: у меня одни штаны, с меня снять нечего – сверкать будет.

Вообразить себе общественный вред, который бы мог сделать Якушкин, – я решительно не могу, и мне не совсем ясно представляется, как и почему его убрали из Петербурга.

XVII

Если бы Якушкин не умер до сего времени, то ему теперь, я думаю, было бы лет под шестьдесят. Перемен в образе мыслей, каким в последнее время подверглись многие из прежних постепеновцев и нетерпеливцев, с Якушкиным быть не могло. Он был величественно нелеп для того, чтобы применяться ко времени и обстоятельствам. Одно могло его удивить, что те самые его народнические принципы, за которые его осмеивали «чистые литераторы» белой кости, – теперь приняли они же сами, и притом с таким рабским подражанием Якушкину, что прямо посылают воспитанных людей «учиться у мужиков». Резоны Якушкина, значит, свое взяли...

Довольно трудно сказать, в какой бы теперь компании очутился Якушкин? Судьба сдвинула с места светоч его жизни ранее, чем настало время для таких смятений, и тем избавила его от выбора, который, кажется, несколько затруднял Достоевского. Якушкин, впрочем, был так непосредствен и так искренен, что он бы, наверно, выбрался из этих противоестественных подборов иначе.

Изложив все, что казалось возможным передать о Якушкине, надо сказать нечто и о тех, кому он прискучил до того, что они как будто содействовали или хотя радовались его подневольному удалению в «места». Нет спора, что такие люди были и в Петербурге и в маленьком дворянском Орле, где Павел Иванович очень часто попадался всем на глаза на главных бойких пунктах этого городка. У Иордана в гостинице – он, в саду у буфета – он, в книжном магазине у орлицкого моста – он, и все стоит да знакомым рукой машет... а сам в рубахе, – одна штанина навывпуск, другая в сапог... Многие этим скандализировались и давно были того мнения, что его бы «не худо прибрать», а он и не замечал, что вышел из моды и в простодушии своем все мотался по городу и «шабаршил», заходя в трактиры и буфеты. Сносное в большом Петербурге, чудачество это просто опротивело в маленьком Орле, где мне довелось слышать о нем такие доводы:

– Ну уж видели мы его... Чего же еще? Довольно.

После этого распоряжение об удалении Павла Ивановича здесь многим показалось даже очень сообразною мерою.

Якушкин несомненно не был вреден, но столь же несомненно не были вредны Сократ и Антисфен, с которыми ставить на одну ногу нашего «божьего человечка» даже неловко. Но не позабудем, что даже «Сократ нашего воображения очень непохож на Сократа современных ему Афин. Нам он кажется трансцендентальным гением, а для Афин своего времени он был праздношатающийся – с странною и даже отвратительною сатиropодобною наружностью, шарлатан, который терял время в разговорах и выводил из терпения добрую хозяйку Ксантиппу, приглашая к себе гостей, когда их нечем было потчевать» (Дрепер). Современники мудреца видели досадительные неудобства в сожителстве с таким человеком и решились его сбить с рук, и сбыви...

Если же такое отношение извиняется беспристрастным ученым для современников Сократа, то колыми паче надо простить и извинить суровость, проявленную к

Воспоминания. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
Якушкину, который тоже многим не нравился, надокучал своим не всегда толковым лепетом и вообще казался «непереносным» в «обществе». Павел Якушкин сам был в этом не беспричинен.

Пренебрегать приличиями и внешнею добропорядочностью в наш век не удобнее, чем в век Антисфена и Диогена.

Всегда найдется довольно людей, которые считают долгом вступаться за то, что отжило свой век, что само собою падает и рассыпается. Осторожность была чужда Якушкину так же, как и умеренность.

Примечания

1 Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает (франц.).

2 Сюда и туда (нем.).

3 Часто остроумный, но еще чаще злой и насмешливый поэт Н. Ф. Щербина говорил, что Громека, подобно Мурильо, «писал в трех манерах». Известно, что есть картины Мурильо в серебристом, в голубом и в коричневом тонах. Первые писания Громеки против административного своеволия («Русск<ий> вестник» М. Н. Каткова) шуточный поэт приравнивал к первой манере, то есть к серебристой; вторая, «голубоватая», началась в «Отечественных записках», когда Громека рассердился на непочтительность либералов и, по приведенной гр. Л. Н. Толстым хорошей поговорке, «рассердясь на блох, и кожух в печь бросил». В третьей же манере, которая должна соответствовать мурильевской коричневой, написаны сочинения, до сих пор недоступные критике. Это литература самого позднейшего периода, который относится к «крестительству» (прим. Лескова).

4 Этот был впоследствии доктором, женился на дочери нашего бывшего попечителя гимназии, жил в Орловской губернии и скончался в молодых годах (прим. Лескова).

5 Звали его Иваном Яковлевичем, а фамилии не помню, от учеников же он имел прозвище «Коза» (прим. Лескова).

6 Помнится, будто Александр Яковлевич Кронеберг или инспектор Петр Андреевич Азбукин (прим. Лескова).

7 Так называл их надзиратель «Коза» (прим. Лескова).

8 Это не человек, это черт! (нем.)

9 Черт (нем.)

10 Семь рублей в глазах П. И. Якушкина, пожалуй, могли казаться и такими деньгами, которые долг велит хорошо обеспечить. По безалаберности своей и лени он часто жила совсем без денег и крупную денежную единицу начинал считать с полтинника (прим. Лескова).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://leskovnikolai.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!